

Зарин Андрей Ефимович

**Наш журнал; Подземный ход;
Страх**

Рассказы

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
А65

А65 **Андрей Ефимович З.**
Наш журнал; Подземный ход; Страх: Рассказы / Зарин Андрей Ефимович – М.: Книга
по Требованию, 2023. – 68 с.

ISBN 978-5-519-85704-8

ISBN 978-5-519-85704-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

НАШЪ ЖУРНАЛЪ.

I.

Какъ Забуцкій и Држевусскій были насадителями хорошаго тона, изящныхъ манеръ и франтовства въ нашемъ классѣ, такъ я—могу сказать съ гордостью—былъ насадителемъ литературы.

Судьба, слѣпая раздатчица радости и горя, внушила мнѣ мысль марать бумагу, когда мы въ классѣ проходили еще только тройное правило, и, какъ сейчасъ помню, первое мое произведеніе имѣло необычайный успѣхъ въ классѣ.

Это была сатирическая поэма.

Учитель французскаго языка, Пиніонъ, за свой ростъ и фигуру, былъ прозванъ у насъ слоненкомъ, и, вотъ, на него-то и была направлена моя стрѣла.

По улицамъ города Вильно
Слоненокъ печально шагаль,
И длинной осиновой палкой
Погонщикъ его попукаль.

Такъ начиналась поэма.

Въ ней я рассказывалъ о чудесномъ превращеніи этого слоненка въ учителя французскаго языка (очевидный вымыселъ) и закончилъ ее четверостишіемъ:

Такъ бѣдный когда-то слоненокъ
Французскимъ учителемъ сталъ
И, помня погонщика палку,
Намъ палками красить журналъ.

Я читалъ ее въ классѣ разъ 20; потомъ каждый переписалъ ее себѣ въ тетрадь, она стала ходить по рукамъ, попала нашему Пимпѣ, отъ него—инспектору, вслѣдствіе чего я попалъ въ карцеръ, и, такимъ образомъ, въ короткій срокъ былъ увѣнчанъ лаврами и претерпѣлъ гоненіе.

Понятно, я сталъ, съ той поры, писателемъ, и ни одинъ учитель, а потомъ и товарищи не миновали моихъ стрѣлъ; затѣмъ я развилъ альбомную литературу и, наконецъ, сдѣлавшись прозаикомъ, сталъ писать за своихъ товарищей русскія сочиненія, оптомъ и въ розницу.

Слава моя росла, отмѣтки ухудшались, и я довольно часто сидѣлъ въ карцерѣ.

Сколько я замѣчаю теперь, это писательство заразительно, какъ скарлатина. У всякаго писателя непременно уже окажется на-придачу тоже писателемъ и братъ, и тетки, и два-три знакомыхъ.

Такъ было и тутъ.

Когда мы были уже въ 4-мъ классѣ, какъ-то, послѣ Рождества, ко мнѣ подошелъ Колтовской и, съ видомъ заговорщика, тихо сказалъ мнѣ:

— Приди, пожалуйста, ко мнѣ сегодня вечеромъ. Я тебѣ покажу что-то! Придешь?

Онъ сталъ передо мною, засунувъ руки въ карманы, и глядѣлъ на меня, какъ ворона на кусокъ, бокомъ.

Сходство съ вороной у него было удивительное, благодаря тонкому и длинному носу.

— Приду, — отвѣтилъ я, — отчего же!

Онъ кивнулъ и отошелъ отъ меня, что-то урча себѣ подъ-нось.

II.

Этотъ Колтовской считался у насъ „ни рыба, ни мясо“,—какимъ-то мямлей.

Матери у него не было. Отецъ постоянно былъ въ разъѣздахъ, старшій братъ учился въ юнкерскомъ, и нашъ Колтовской жилъ въ одиночествѣ, но, вмѣсто того, чтобы развить въ немъ самостоятельность, это одиночество наложило на него печать угрюмости, хотя, рядомъ съ этимъ, онъ былъ очень чувствителенъ и часто плакалъ.

Учился онъ прилежно, ровно и проходилъ свою стезю никѣмъ незамѣчаемый, даже будто избѣгая товарищества и дружбы.

И вдругъ онъ позвалъ меня къ себѣ. Въ этомъ была несомнѣнная странность, и я шелъ къ нему сильно заинтересованный.

Онъ жилъ на краю города, у желѣзнаго моста, во второмъ этажѣ деревяннаго дома.

Я вошелъ во дворъ, нашелъ крыльцо и сталъ въ темнотѣ взбираться на лѣстницу, какъ вдругъ она освѣтилась.

На площадкѣ лѣстницы, со свѣчой въ рукахъ, появился Колтовской, и лицо его свѣтилось неподдѣльной радостью.

— Я боялся, что ты не придешь,—говорилъ онъ взволнованно, перегибаясь черезъ перила.

— Нѣтъ! Разъ ужъ я обѣщалъ...—отвѣчалъ я, быстро взойдя наверхъ.—Ну, здравствуй!

— Здравствуй, спасибо! Идемъ!—и онъ, горячо пожимая мнѣ руку, ввелъ меня въ переднюю, гдѣ я снялъ пальто, потомъ повелъ черезъ гостиную въ свою комнату.

Простая, но хорошая мебель, зеркала, рояль, картины, огромный акваріумъ, полъ, навощенный до блеска и съ

бѣлыми холщевыми дорожками, а въ его комнатѣ—большой рабочій столъ, книжный шкафъ и токарный станокъ.

И вездѣ чистота, и въ комнатахъ свѣтло, и самъ Колтовской улыбается, довольный и радостный.

Мнѣ сразу стало хорошо въ его комнатѣ, въ его присутствіи. Я опустился въ кожаное кресло подлѣ стола и сказалъ:

— Ну, что ты хотѣлъ показать мнѣ?

Онъ вспыхнулъ до самыхъ волосъ и смущенно заморгалъ глазами.

— Потомъ, потомъ... А теперь чаю. Я сейчасъ! Фелицата, чаю!—закричалъ онъ и сказалъ:—пойдемъ въ столовую или здѣсь?

— Здѣсь,—отвѣтилъ я, чувствуя себя прекрасно.

— Такъ я сейчасъ...

Онъ торопливо вышелъ и скоро вернулся, ведя за собой старуху съ подносомъ, на которомъ стояли два стакана чаю, сливки, сахаръ и цѣлая корзинка разныхъ печеній. Онъ суетливо сталъ переставлять все это на столъ съ подноса.

— Пей и ѣшь! А ты, Фелицата, намъ бутербродовъ сдѣлай съ ветчиной и сыромъ. Ну, скоро!

— Ишь, прыткій какой!—сказала она ворчливо:—прямо грачъ!

Онъ весело засмѣялся.

— Вотъ! Ты вороной зовешь, а она—грачомъ. Это изъ-за носа.

Мнѣ стало неловко.

— Я шутя...

— Да развѣ я сержусь?!. Ахъ, Господи!—вздохнулъ онъ и снова сталъ угощать.

Мы начали пить чай. Фелицата принесла бутерброды. Мы пили, ѣли и болтали о пустякахъ.

Чаепитіе окончилось, наступило минутное молчаніе, и я снова спросилъ:

— Ну, что же ты показать хотѣлъ?

Онъ опять смутился.

— Видишь ли,—заговорилъ онъ тихо,—дѣло въ томъ... А ты не будешь смѣяться?..

Я рѣшительно мотнулъ головой.

Тогда онъ, словно собравшись съ духомъ, нагнулся ко мнѣ и быстро произнесъ:

— Я тоже пишу стихи!—послѣ чего откинулся и замеръ, красный, какъ небо при закатѣ.

Я также откинулся къ спинкѣ кресла. Все, но не это... И, признаться, я даже почувствовалъ нѣкоторую непріязнь къ Колтовскому, словно бы подумалъ: „ну, гдѣ тебѣ?..“

Однако, я сдержался, сдѣлалъ попытку улыбнуться и отвѣтилъ:

— Что же... это хорошее дѣло... только трудно...

— О, да!—вдохнулъ онъ.—Если бы я писалъ, какъ ты!—и онъ горячо прибавилъ:—вотъ никогда никому не завидовалъ, а тебѣ... до боли!..

Моему самолюбію было лестно это слышать, и я, уже безъ принужденія, улыбнулся снова и сказалъ:

— Ну, есть чему... Вотъ, если бы я былъ Лермонтовъ... Однако, ты почитай мнѣ все-таки свои стихи. Это очень интересно,—окончилъ я снисходительно и, почти въ то же мгновеніе, увидалъ у него въ рукѣ толстую тетрадь.

— Какъ станетъ скучно, скажи,—поспѣшилъ онъ предупредить.

— О, пожалуйста!—отвѣтилъ я и прислонился къ мягкой спинкѣ глубокаго кресла.

Онъ поправилъ огонь въ лампѣ, раскрылъ тетрадь, скромно кашлянулъ въ руку и сказалъ:—только ты не смѣйся!—и началъ читать.

Онъ прочелъ первое стихотвореніе и вопросительно взглянулъ на меня.

— Гм... гм... недурно,—проговорилъ я.—Читай дальше.

Онъ прочелъ второе, и я сказалъ то же; третье,—и опять я не находилъ, къ чему придраться.

Сначала онъ меня этимъ какъ бы обидѣлъ, но потомъ его, какъ мнѣ казалось, звучные и полные мысли стихи увлекли меня, и я только кивалъ головою послѣ прочтенія каждого стихотворенія, а онъ читалъ дальше и дальше, каждый разъ сначала выкликая заглавіе, а по прочтеніи умирающимъ голосомъ говоря: „все“.

— „Горе!“—провозгласилъ онъ.

Горе великое, это—не горе,
Слезы—не тѣ, что бѣгутъ изъ очей:
Все, что велико—отмѣтится скоро,
Встрѣтитъ участие людей.
Горе—то міръ незамѣтныхъ страданій,
Міръ затаенныхъ, подавленныхъ слезъ,
Гдѣ ни надежды, ни капли желаній,
Прежнихъ несбыточныхъ грезъ!
Чуждо оно состраданья людского,
Другъ, самый лучшій, его не пойметъ,
Выразить ясно не въ силахъ и слово...
Такъ и въ могилу сойдетъ...

— Все!—тихимъ шепотомъ произнесъ онъ, и на листы тетради капнули слезы.

Меня потрясли эти стихи. Я вскочилъ, сжалъ его въ объятіяхъ и взволнованно сказалъ:

— Ты, ты—поэтъ, а не я!

Онъ уронилъ тетрадь и заплакалъ.

— Такъ, правда? Тебѣ нравится?—говорилъ онъ черезъ минуту, буквально сіяя радостью.

— Да неужели я совру! У меня ни одного нѣтъ такого, какъ у тебя! — уже безо всякой зависти, съ чувствомъ восторга отвѣтилъ я, и онъ тотчасъ началъ снова читать, а я — наслаждаться.

Его стихи волновали и трогали меня. Откуда у него столько нѣжной печали, столько мечтательной грусти? Иногда слезы сжимали мнѣ горло, а онъ, время-отъ-времени, приостанавливалъ свое чтеніе.

Это былъ прекрасный вечеръ!

Мы кончили чтеніе и говорили.

Онъ рассказалъ мнѣ свою безрадостную жизнь. Постоянно одинъ. Мать умерла у него, когда ему было 5 лѣтъ, и его душа полна грезой о матери, грезой юной, нѣжной, прекрасной.

А отецъ его грубъ и всегда, когда дома, занятъ; братъ только кутить...

— Отчего мы раньше не узнали другъ друга?..

— Я все стѣснялся...

Потомъ мы перешли въ гостиную, онъ сѣлъ къ роялю и сталъ играть.

Онъ оказался и музыкантомъ.

И эта музыка, стихи, наша внезапная дружба, — все это наполнило меня такимъ сладкимъ чувствомъ, что, идя домой по темнымъ улицамъ, я сталъ сочинять стихи „моему другу“ и пришелъ въ себя, лишь поскользнувшись на снѣгѣ и влетѣвъ въ кучу снѣга.

На другой день Колтовской сказалъ мнѣ:

— Я не спалъ всю ночь!

— Я тоже, — отвѣтилъ я.

Съ той поры мы стали неразлучны. Онъ читалъ мнѣ каждое написанное имъ вновь стихотвореніе, я — свое, а такъ какъ это самое вдохновеніе было у него неизсякае-

мымъ ключомъ, да и я писалъ чуть не по два стихотворенія въ день, то, очевидно, все свободное время мы проводили вмѣстѣ.

Такимъ образомъ, въ классѣ оказалось уже два поэта.

III.

Всѣ узнали, что Колтовской—поэтъ, и учитель русскаго языка Жагулевичъ, вызывая меня или его, не безъ язвительности говорилъ:

— „Пока не требуетъ поэта къ священной жертвѣ Аполлонъ“...—онъ только гимназистъ и долженъ знать свой урокъ. Колтовской, докажите это!

Колтовской вставалъ и, краснѣя, путался...

Но и онъ, и я были любимыми учениками Жагулевича.

У насъ былъ еще товарищъ—Сорокинъ, сынъ губернскаго казначея. Этотъ Сорокинъ, маленькій, бойкій, чернѣйшій, походилъ на жука, былъ мастеръ на шалости, любилъ сплетничать и слылъ у насъ за лучшаго рассказчика анекдотовъ.

И вотъ, однажды, когда мы съ Колтовскимъ возвращались домой, и Колтовской читалъ мнѣ свое послѣднее стихотвореніе,—Сорокинъ вдругъ врѣзался между нами и, протягивая мнѣ листъ мѣстной газеты, сказалъ:

— Прочти-ка!

Мы съ удивленіемъ посмотрѣли на него, а онъ нетерпѣливымъ движеніемъ плечъ поправилъ ранецъ и повторилъ:

— Ну, читай!

— Гдѣ?

— Вотъ!—и онъ указалъ пальцемъ.

Къ намъ въ городъ пріѣхалъ еврей, который привезъ

съ собою двухъ зулусовъ (эти зулусы оказались потомъ выкрашенными евреями). Еврей этотъ открылъ на площади



Сорокинъ протянулъ мнѣ листъ мѣстной газеты.

балаганъ и показывалъ своихъ зулусовъ за входную плату въ 10 коп.

Чтобы доказать свою „дикость“, эти зулусы свертывали живой курицѣ, на глазахъ у всѣхъ, шею, рвали ее на куски, посыпали мясо табакомъ и ѣли!..

И въ указанной Сорокинымъ статьѣ неизвѣстный авторъ возмущался этимъ зрѣлищемъ, говорилъ про его безнравственность и заканчивалъ статью горячимъ обращеніемъ къ матерямъ:

„По крайней мѣрѣ, вы, матери“, писалъ онъ, „не водите на это гнусное зрѣлище своихъ дѣтей и воспитывайте ихъ въ чувствахъ любви къ ближнему и красоты!“

— Хорошо,—сказалъ я, отдавая ему газету;—такъ и надобно.

— Это написалъ я!—вдругъ заявилъ Сорокинъ и захохоталъ.—Не ждали, господа поэты? А вотъ!..

Мы съ изумленіемъ взглянули на него, и онъ сразу показался намъ другимъ человѣкомъ.

— Ты будешь талантливымъ публицистомъ,—сказалъ торжественно Колтовской:—замѣчательно бойкое перо у тебя.

— Молодецъ!—похвалилъ и я.

Сорокинъ, видимо, былъ доволенъ.

— То-то!—сказалъ онъ.

И насъ стало трое.

Мы собирались преимущественно у Колтовского. Сперва онъ читалъ намъ свои стихи, потомъ—я; потомъ Сорокинъ рассказывалъ намъ планы своихъ повѣстей и романовъ, и, въ заключеніе, Колтовской игралъ на роялѣ.

И вотъ, на одномъ изъ такихъ вечеровъ, Сорокинъ вдругъ заявилъ:

— А знаете, какая мнѣ пришла мысль?

— Ну?—спросилъ Колтовской.—Новый романъ?